



Е. К. ГЕРЦЫК

Воспоминания

<фрагмент>

<...> Другом ее¹ в эти годы сделался Булгаков. Сергей Николаевич Булгаков — в прошлом марксист и социал-демократ, а теперь правоверный — в будущем священник и духовный отец лучших среди русской эмиграции. В годы, о которых я говорю, он уже автор нескольких книг по православной мистике. Книжки эти с дружеской надписью лежат у нас, но как-то случилось, что мы обе, заглянув лишь туда, сюда, прилежно их не прочли, и вот у меня нет цельного представления о его мирозерцании. Причина, может быть, и в том, что цельности не было в нем самом. На одной стороне — правоверие, которое связывало его со столпами московского православия, со старцами Зосимовой пустыни. Появляясь же в кружке близких нам людей, он отдавался их темам, зыбким и рискованным, внося в них ту свежесть восприятия, которой уже не было у других. По годам такой же, как большинство наших друзей, — между тридцатью и сорока — он казался моложе благодаря какому-то хаосу, еще не перебродившему в нем. Нас с сестрой забавляло ему, которого за своего почитали разные владыки с наперсными крестами, открывать какого-нибудь немножко кощунственного поэта, толковать Уайльда, музыку Скрябина², встречать внимательный, загорающийся взгляд его красивых темных глаз. Узкоплечий, несвободный в движениях, весь какого-то плебейского склада — прекрасны были у него только глаза. От времени марксизма сохранил он задор спора и как же бывал резок, жесток, нападая на инакомыслящих, будь ли то атеисты, теософы разных толков — ни ноты христианского духа примирения. И тем больше веселило нас, что от Аделаиды он, не бунтуя, выслушивал любые еретические слова. Склонившись над ней, он что-то длинно ей говорил, а она, перестав его слушать, отвечает совсем невпо-

пад. Если я была близко, случалось, я вмешуюсь: «Адя, но ты не расслышала... Сергей Николаевич именно и говорит...» Но может быть, ее «невыпадение» как раз и было ему нужно: он уходит размягченный. Проводив его, сестра возвращается утомленным шагом: «Ничего... он не обиделся... Это было что-то скучное и неважно что, но я люблю, когда у него так загораются глаза — такие коричневые и... добрые». Она немножко лукавила: его, правда, коричневые и глубокие глаза, когда он с нею говорил, были не добрые, а восхищенные. Пристрастие его к Аделаиде было предметом незлобивых шуток среди самых близких. Бердяев подсаживается к ней и, весело поблескивая глазами: «У вас был Сергей Николаевич? Был очень “софиен”?» София, Премудрость, женское начало или женское дыхание в Божестве — предмет тайного поклонения Булгакова.

У французов есть меткое выражение: *avoir le courage de ses opinions*³, я бы досказала: *le courage de ses amours*⁴. Вот этого мужества своих пристрастий не доставало Булгакову — или же оно давалось ему нелегко, с мукой. В шестнадцатом году он был поглощен изданием одной книги. В Нижнем жила скромная сотрудница местной левой газеты Анна Шмидт. За несколько лет до смерти Владимира Соловьева она написала ему, что ей открылось: она — воплощение Софии, Души мира, которой поклонялся философ, которую дышит вся его поэзия. Что-то в письме Шмидт поразило Соловьева. Он поехал в Нижний, увидел ее, старался отрезвить ее, обменивался с нею письмами, прочел со вниманием ее пророческие писания, о которых, конечно, и не подозревали ее газетные сотоварищи. Через много лет после этого, следуя за какими-то нитями, Булгаков разыскал корреспондентку Соловьева, теперь уже седую старушку, но верную все тем же мыслям, беседовал с нею. Вскоре она умерла.

И вот в его руках ее архив — переписка с Вл. Соловьевым и ее собственные писания. Сергей Николаевич подготовил их к печати, написал большое предисловие, гностически истолковывая прозрения Шмидт, но издал книгу не в издательстве «Путь», где был главным редактором⁵, издал на свои средства, безымянно, и даже под предисловием не решился поставить своего имени. А там были высказаны самые глубокие и дорогие ему мысли! Недостаток мужества? Может быть, и не только это. Может быть, он умышленно ограждал как частное, интимное, ни к чему не обязывающее свою любовь, свою тоску?

Помню другую его сладостную ересь той же поры. Проводя лето обычно в Крыму, под Ялтой (имение родителей его жены),

он не раз сталкивался с автомобилем царя, внезапно налетающим из-за поворота, и вид этого уже обреченного человека — злой судьбы России — пробудил в нем безмерную жалость-влюбленность. Всеми навыками радикальной политической мысли он знал неизбежность революции и гибели царизма, но сильнее этого изнутри жгло его чувство к несчастному помазаннику. При разговорах о царе — а возникали они тогда непрестанно — он болезненно морщился, но иногда, в особенности, когда слушательницей его была сестра, он отдавался не только муке, но и сладости этого чувства. В его думах о России, ее судьбе, судьбе царя был безумящий его хмель — что-то общее с хмельными идеями Шатова у Достоевского⁶. Быть может, и влечение к священству возникло в нем прежде всего как желание привести в гармонию свою слишком мятежную, хаотическую сущность. Как ему, верно, трудно было эти интеллигентные руки, привыкшие к писанию, к резким жестам спора, переучить к плавному иерейскому воздеванию! Мне не пришлось видеть его священником, но думаю, что гармонии он достиг и голос его обрел ту уверенность, которой ему не доставало.

В двадцать пятом году, когда Аделаида умерла, он писал мне из Парижа: «У меня давно-давно, еще в Москве, было о ней чувство, что она не знает греха, стоит не выше его, но как-то вне. И в этом была ее сила, мудрость, очарование, незлобивость, вдохновенность. Где я найду слова, чтобы возблагодарить ее за все, что она мне давала в эти годы, — сочувствие, понимание, вдохновение, и не мне только, но всем, с кем соприкасалась. Не знаю даже, не могу себе представить, чтобы были слепцы, ее не заметившие, а заметить, ее — это значило ее полюбить, осияться ее светом. Я узнал опытом долгой жизни, что неотразима и победна только святость, ее все, все в глубине души жаждут и ищут, — ее только одной, — и ничего другого не хотят, и если ее увидят и узнают — все оставят и за нею пойдут. Потому неотразима Богоматерь, что Она вся есть чистота и святость. О, если бы люди знали... Зачем я говорю это самое заветное, что есть на душе? Потому что о ней и для нее не могу не говорить только заветного, ибо и она была заветная.

Наши старые отношения вы знаете, это было у вас на глазах. Видел же я ее в последний раз в Симферополе в двадцатом году. Она очень изменилась, состарилась, но внутренний свет ее оставался тот же, только светил еще ярче и чище. Она меня провожала на почту, я как-то знал, что прощаюсь с нею навсегда, что в этом мире не увидимся. Ее письма всегда были радостью, утешением, светом. Чем больше для самого меня раскрывались на

моем пути глубины сердца, тем лучезарней видел ее образ. В ней я все любил: ее голос, глухоту, взгляд, особую дикцию. Прежде я больше всего любил и ценил ее творчество, затем для меня стала важна и нужна она сама, с дивным, неиссякаемым творчеством жизни, гениальностью сердца. Последние годы мы жили далеко. Если бы мы жили ближе, я мог бы помогать ей в церковности, но вряд ли ей нужна была помощь в ее личном духовном пути. Во всяком случае, было так, как нужно, и ей, очевидно, дано было осуществить себя в значительной мере одной.

Земно кланяюсь ее могиле (родное, жаркое, выжженное южное кладбище — как я это знаю и как мучительно люблю)!..»

Не знаю, рассказал ли бы он такими простыми, спокойными словами о своем давнем чувстве к ней, если бы не был священником. <...>

